*Евгений Мирмович*

# Подарок на день рождения

Белла даже не представляла, что её могут не любить. Все семнадцать лет её жизни она была окружена вниманием и любовью. Две бабушки и мама делали всё, чтобы Беллочка росла счастливой. Получала необходимые витамины, не простужалась, была радостной и веселой. Даже вечно занятый папа никогда не возвращался домой без подарка для любимой дочурки. А бабушка Валя вязала ей тёплые носочки и отдавала половину пенсии, чтобы Беллочка ходила на английский и росла образованной. И вот теперь всё рухнуло.

 Накануне своего дня рождения Белла узнала страшную новость. Подарка на этот день рожденья не будет. Просто торт, гости, цветы, чаепитие и всё. А долгожданного абонемента на фитнес так и не будет. Её всегда все любили. Умилялись соседи. Восхищались её прилежностью учителя. Боготворили родственники. Она и вправду была очень миленькой и не знала в жизни печали. Потому что её печаль тут же становилась чрезвычайным происшествием для окружающих. Ей мерили температуру, интересовались причинами грусти и сразу же прилагали все усилия, чтобы их устранить. А теперь, в самый канун дня рождения такая чудовищная несправедливость. Подарка не будет.

 Об этом вчера утром объявил папа. Дело было в том, что уже третью неделю бабушка Валя находилась в реанимации. Последние четыре дня на искусственной вентиляции лёгких. Бабушке требовалась какая то очень дорогая процедура и всё внимание родственников сейчас было приковано к решению этого вопроса. Со вчерашнего дня Беллочка не находила себе места. Как же так? Такой желанный и давно обещанный абонемент в фитнес клуб не становился реальностью, даже несмотря на день рожденья. Она чувствовала себя бесконечно одинокой и никому не нужной. Не будет подарка на день рожденья! Это просто бесчеловечно! Никто даже не поинтересовался, как она переживёт такую невероятную трагедию.

 Сегодня утром позвонили из больницы и сообщили, что бабушке Вале стало чуть лучше, она пришла в сознание. Все родственники сразу же поехали туда. Беллочку тоже звали, но она обиженно надула губки и закрылась в своей комнате. В знак протеста она развернула лицом к стене все фотографии родных и фигурки микимаусов, стоящие на полках. Лёжа на пуховой перине, она думала о том, как все будут жалеть её, раскаиваться за несправедливо нанесённую обиду, когда бабушку Валю выпишут и всё уладится. В какой- то момент она даже подумала, что вовсе не плохо, что так случилось. Наверняка кающийся папа придумает, какой ни будь дополнительный подарок, чтобы загладить свою непростительную ошибку.

 С этими мыслями Беллочка благополучно заснула. Через некоторое время она проснулась, услышав, как открывается входная дверь, и в квартиру входят родители. Вошедший в прихожую отец небрежно бросил свою шляпу на вешалку. Шляпа пролетела мимо и упала на пол. Отец даже не заметил этого. Он устало опустился в кресло. Мама подошла к окну и молча уставилась вдаль. Все молчали. Беллочка видела невероятное смятение на лицах родителей. Она предвкушала поток извинений по поводу свой тяжкой обиды. Настораживало только одно. Все были подавлены, но никто не спешил начинать диалог. Наконец папа встал с кресла, подошёл к дочери и сдавленным голосом произнёс: «Бабушки Вали не стало!». Он тут же закрыл глаза руками и отошёл в сторону. Мама подошла к отцу, обняв его за плечи, молча прижалась к нему щекой.

 Какое - то новое, незнакомое до этого момента ощущение переполнило сознание Беллы. Один раз она уже испытывала нечто похожее, когда случайно наступила сапогом на подснежник, которым все любовались, и втоптала его в грязь. Только теперь это чувство было намного сильнее. Она подошла к отцу и вместе с матерью обняла его. С тех пор прошло много лет. В жизни Беллы многое изменилось. Осталась лишь одна маленькая странность. Она просит никогда не дарить ей подарков на день рожденья. Теперь она всегда дарит их сама…

# Ударная левая

*"Ничто так не объединяет людей, как общая беда.*

*Ничто так не разобщает их, как желание любой ценой спасти собственную жизнь"*

 Палящее июльское солнце к вечеру немного ослабло. Его косые лучи пронизывали пыль над просёлочной дорогой, поднимаемую сотнями солдатских сапог. Клубы этой пыли перемешивались с едким дымом пожаров горящего Севастополя. Разрозненные части Красной армии хаотично отступали в сторону тридцать пятой береговой артиллерийской батареи в надежде на эвакуацию морем. По слухам, именно оттуда бежал на большую землю командующий обороной города адмирал Октябрьский с частью высшего комсостава. Говорили, что именно туда по ночам, опасаясь немецкой авиации, подходят наши корабли, чтобы забирать в Новороссийск попавших в окружение бойцов.

 Первый день июля 1942 года принёс только плохие новости. Сопротивление защитников города прекратилось. На береговой батарее больше нет снарядов, но в её мощных укреплениях можно продержаться ещё несколько дней до подхода наших судов. Никто не знал точно, придут ли эти корабли? Существуют ли ни вообще? Сколько людей они смогут взять на борт? В управлении войсками царил хаос. Никакой информации не было. В окопах, окружавших тридцать пятую батарею, обустраивались на ночь всё новые и новые бойцы, отступавшие из Казачьей бухты. Всеобщая неразбериха, вызванная бегством командования, осложнялась нехваткой продовольствия и, главное, питьевой воды. Счастливчиками были те, у кого ещё оставались во флягах считанные глотки.

 Среди таких, чудом сохранивших воду на дне фляги бойцов, оказались два рядовых с фамилией Куликов. Они не были братьями и даже небыли родственниками. Призывались оба из большого волжского села, где фамилию Куликов носил чуть ли не каждый третий. До войны они даже не были знакомы. Зато с осени 1941-го, Степан и Алексей были – не разлей вода.

 Ещё на призывном пункте, судьба поставила их в один строй. С тех пор парни сильно сдружились. Они были ровесники. Примерно одинакового роста и телосложения. Оба ещё не женаты и головы их переполнялись схожими мечтами и планами.

 Алексей успел закончить перед войной ремесленное училище и всерьёз увлекался футболом. У него были хорошие данные, и тренер заводской футбольной команды уже присматривал для Куликова место в сборной Саратовской области.

 Степан имел планы несколько скромнее. В родном селе остался недостроенный его умершим отцом большой бревенчатый дом, который Степану, как старшему сыну, полагалось закончить. Там же, на соседней улице осталась и Катюша. Большеглазая сирота, застенчивая и тихая девчонка, приглянувшаяся Степану ещё с детства.

 Теперь все эти мечты превратились в дым. Едкий и угарный дым от догорающих резиновых колёс разбитой снарядом на обочине дороги полуторки. Не стало ни футбольного стадиона, ни родного села, ни ясных Катюшиных глаз.

 Зато оставалась молодость, по своей природе склонная к оптимизму, и треть фляги пресной воды на двоих.

 За последний год Куликовы научились делить пополам всё. Каждый, добывая глоток воды, щепотку махорки или корку хлеба, думал о друге и был счастлив разделить с товарищем добытое. В этом дележе заключалась сакральная жертвенность, позволявшая каждому из них подсознательно черпать духовные силы у судьбы, сохранявшей их обоих живыми и здоровыми.

 – Лёшка, глотни первым, – сказал Степан, протягивая флягу долбившему лопатой каменистый грунт Алексею.

 – Подожди Стёпка, ещё на вершок углубить окоп надо, а то видишь, как осыпался.

 К наступлению темноты окоп был достаточно глубок. Стрельба стихла. Обугленная полуторка на обочине догорела и перестала чадить. В чёрном небе показались первые звёзды. Допив последнюю воду, Куликовы уселись рядом и прижавшись спинами к стене окопа.

 – Как думаешь, Стёпка, меня возьмут после войны за сборную области играть?

 – После войны молодые футболисты подрастут, почище тебя, – отшутился Степан.

 – Да где они возьмутся эти молодые? Им и тренироваться-то сейчас негде, – обиженно возразил Алексей, – к тому же, у кого ещё такой удар с левой ноги?

 – Сдался тебе этот футбол, что ты в нём нашёл?

 – Эх, не скажи, Стёпка. Ты вот представь себе. Огромный стадион. Тысячи людей пришли смотреть. Свистят все, переживают, такая атмосфера волнительная. Матч подходит к концу. Счёт ничейный. И тут я выхожу на замену и в последние секунды забиваю решающий гол. Публика ревёт в восторге. Все вскакивают с мест. Кричат, аплодируют. А после матча иду я по улице, а девчонки перешёптываются, на меня смотрят. Это Куликов, тот самый! Который гол забил! И платья у них такие лёгкие, шёлковые, на тёплом ветру колышутся.

 – Это хорошо если ты забьёшь гол. А если тебе? А ещё чего доброго, с ног собьют так, что и не встанешь.

 – Так это ещё лучше! Представляешь? Меня на носилках с поля волокут. А девчонки плачут и убегают со стадиона в слезах. А я потом выхожу после матча живой, здоровый и угощаю их мороженым, чтобы успокоить. Нет, Стёпка, тебе этого не понять. Ты наверно только о своей Катьке большеглазой и думаешь.

 – Ну и думаю. И что с того? Я, может, жениться на ней собираюсь. Она лучше, чем весь твой стадион с мороженым.

 С моря потянуло тёплым ветром. Где-то в ложбине застрекотал кузнечик. Свет от луны становился всё ярче. Усталость брала своё. Почти одновременно бойцы провалились в глубокий сон.

 Солнце ещё не поднялось из-за горизонта, когда Степан проснулся от внезапного шума. Открыв глаза, он увидел стоящего над его головой на бруствере немца. Кругом слышалась чужая речь. Лейтенант в фуражке со свастикой бойко командовал визгливым и неприятным голосом. Наших солдат разоружали, снимали ремни и сапоги, уводили колоннами по десять в сторону Севастополя.

 Стоявший над Степаном на краю окопа немецкий солдат был совсем мальчишка. Его светло серые глаза испуганно и напряжённо бегали из стороны в сторону. Очевидно, он первый раз наблюдал живых русских так близко. Степан видел перед собой чёрное отверстие ствола немецкого автомата и рваный ботинок этого парня. Из-под оторванной подошвы торчал босой палец его ноги. Справа от Степана, на краю окопа лежали несколько окровавленных тел наших бойцов. В одном из них он узнал политрука батальона. Другие были сильно обезображены. Узнать их было трудно.

 Спустя некоторое время, всех вывели в поле и усадили на землю, окружив конвоем из нескольких десятков немецких солдат. Июльское солнце набирало высоту. Начиналась невыносимая жара. Многие пленные теряли сознание. Некоторые из них потом поднимались, другие нет. Под вечер уже трудно было определить, кто, из людей, лежащих на земле жив, а кто мёртв. Многие были ранены. Некоторые бредили, просили пить.

 Уже в сумерках немецкий автоматчик ткнул прикладом Степана, указывая ему на жестяной бидон для воды. Немец тыкал пальцем то на пустой бидон, то в сторону балки, где находился ближайший ручей.

 Степан мигом разбудил Алексея. Они схватили двуручный бидон и под конвоем автоматчика направились в сторону ручья.

 Пройдя несколько десятков шагов по пыльной грунтовке, немец остановился. Он был тучным и тяжело дышал. На его лбу многочисленными капельками выступал пот. Кто-то окликнул его сзади, и немец начал, сильно жестикулируя, что-то объяснять своим. Степан и Алексей остановились в ожидании. Конвоир махнул рукой, давая понять, что можно пока продолжать путь без него. Дорога спускалась под гору и была хорошо известна Степану. Через минуту наши бойцы с бидоном спустились к ручью. Немца уже не было видно. Не показался он и когда ребята, вдоволь напившись воды, наполнили бидон. Степан в лёгком замешательстве осмотрелся вокруг. Сумерки ложились на Крымский берег, остужая раскалённый за день воздух.

 Внезапно из большой воронки на противоположной стороне ручья высунулась кудрявая голова в морской бескозырке. Матрос махал рукой, призывая следовать к нему. Недолго раздумывая, Степан и Алексей оставили полный бидон возле ручья и через мгновение оказались рядом с матросом. Кроме них в воронке лежали ещё двое раненых моряков. Один из них был ранен тяжело.

 Кудрявого матроса звали Игнат. Он рассказал, что уже второй день прячется здесь с товарищами. По ночам они вылезают к берегу в ожидании наших судов. Однажды видели, как красноармейцы вплавь добирались на подошедший к берегу катер «Морской охотник». Забрать смогли не всех. Начался налёт вражеской авиации. С палубы открыли зенитный огонь. По словам Игната, тот корабль смог успешно уйти в море.

 Когда окончательно стемнело, Степан с Алексеем вернулись к ручью и забрали полный бидон с водой. Игнату удалось отмыть от песка рану одного из моряков и перевязать его. Второй матрос до утра не дожил.

 С первыми лучами рассвета все четверо покинули своё убежище, опасаясь немецких патрулей, и перебрались под скалистый берег. Там прошёл ещё один день без воды, еды и почти без надежды на спасение.

 На вторую ночь Игнат не раз будил спящих товарищей. Ему всё чудился шум моторов катера. Все напряжённо вглядывались в темноту. Гул двигателей действительно слышался со стороны моря, но тут же начинал удаляться от берега.

 – Слышишь, Стёпка, как думаешь, если катер не подойдёт близко к берегу, сможем до него вплавь? – спросил Алексей.

 – Если волны небольшие, думаю, сможем. Ты же наш, волжский, плаваешь хорошо.

 – У меня ноги сильные. Одна ударная левая чего стоит. Точно доплыву.

 С рассветом всех четверых разбудил шум мотора. Катер был совсем близко. Из-за гребня пенистой волны то и дело показывалась его серая рубка с маленькими стёклами и зенитным пулемётом. Это был «Морской охотник».

 Ребята, не задумываясь, кинулись в воду. Через несколько минут Степан уже видел весь корпус катера. Его палуба была переполнена красноармейцами. Он отчётливо различал бинты на головах раненных, слышал русскую речь.

 Два матроса на корме катера заметили плывущих с берега беглецов. Один из них, совсем молодой, юнга, бросил в воду конец каната. Второй матрос, постарше, что-то с жаром выговаривал юнге. Первым за брошенный конец уцепился Алексей, плывший быстрее остальных.

 В этот момент в небе над самой водой внезапно появились два немецких «Юнкерса». Пулемётная очередь неприятным цоканьем простучала по корпусу судна. Среди стоявших на палубе многие попадали, остальные интуитивно прижались друг к другу. Юнга продолжал держать канат, за который уцепился Алексей. Второй матрос бросился к зенитному пулемёту и открыл огонь по «Юнкерсу».

 – Я не вытащу всех! – прокричал юнга, – нам надо уходить!

 Алексей судорожно вцепился в канат и был уже в метре от леера и тянувшего на палубу юнги. Степан схватился за правую ногу висящего над водой Алексея. Глаза юнги наполнились отчаянием, он задыхался.

 – Я не вытяну обоих, надо уходить, все погибнем, – прокричал он.

 В этот момент Алексей с размаху ударил Степана левой ногой в лицо. От неожиданности Степан разжал руки и вновь оказался в воде. В глазах помутнело. Последним, что он успел увидеть и запомнить, была спина Алексея, которого под руки втаскивали на катер.

 Степан очнулся через минуту от сильного удара затылком о твёрдый предмет. Солёная вода заливала его лицо. Обернувшись, он обнаружил выброшенную взрывом в море часть деревянного борта от разбитого кузова грузовика. Степан ухватился за этот спасительный плот.

 Перед глазами на секунду промелькнула Катя. Наверное, показалось, подумал он и тут же заметил, как голова Игната ушла под воду и больше не показывалась на поверхности. Спустя полчаса, окончательно выбившийся из сил Степан выбрался на берег.

 Стало совсем светло. На берегу он наткнулся на группу из нескольких десятков наших бойцов. Все они были безоружны, полураздеты, многие ранены. Солдаты лежали вповалку на прибрежной гальке. Некоторые тихо разговаривали, но в большинстве молчали. Когда Степан дополз до своих, силы и сознание оставили его.

 Очнувшись, Куликов услышал голоса. Это были какие-то команды, которых он сначала никак не мог разобрать. Степан осмотрелся. Всё встало на свои места. Команды звучали на немецком языке. Куликов поймал себя на мысли, что это уже не вызывает у него ни удивления, ни страха. Просто хотелось, чтобы скорее всё это кончилось. Смерть казалась желанным избавлением от этой бесконечной, обессиливающей и бесполезной череды побегов. Но, конец был ещё так далеко, что никто не мог этого даже предполагать.

 Впереди был долгий плен.

 Сначала концентрационный лагерь, на курганах у реки Качи. Проволока, сторожевые вышки, собаки. Жили под открытым небом. Кормили отрубями, смоченными сырой водой из проточной канавы. Жара, дизентерия, жажда,. За попытку пройти к воде немцы расстреливали. В южной части лагеря колючей проволокой был отделён небольшой угол, который военнопленные называли "мышеловкой". Туда загонялись командиры, коммунисты, комсомольцы, евреи и другие "особо важные" пленные. Там их раздевали, избивали до полусмерти, а вечером расстреливали. Степан не был коммунистом, и «мышеловка» его миновала.

 Затем был рабочий лагерь Регенсбург, при авиационном заводе. Там Степан Куликов с несколькими пленными отказался работать на немцев. Результат был предсказуем. Били прикладами, плетми, ногами пока Степан не потерял сознание. Пришёл в себя в умывальнике, где лежал на полу в воде. Через несколько дней он начал работать в бараке уборщиком. Потом были лагеря Флоссенбург и Бухенвальд.

 За годы, проведённые в плену, Степан смог выжить, не сотрудничая с немцами. В дальнейшем, после освобождения, это спасло его. У СМЕРШа не нашлось фактов, подтверждающих предательство Куликова. Однако, почти для всех освобождённых из плена судьба была примерно одна. В эшелоны, и прямым ходом на Урал. Выгрузили в тайге, вручили пилы, топоры. Загнали строить леспромхоз, заготавливать лес. Так и прожил там Степан до самой пенсии. Был в плену – значит, недостоин нормального существования.

 Работал кочегаром в котельной леспромхоза. Жил в бараке. Поначалу писал письма в родное село, искал Катю. В первые годы возвращение в отцовский дом было невозможно. Потом, после известия о гибели в сорок втором году Кати и всех родных, возвращение потеряло для Степана всякий смысл. Лишь в тридцать девять лет он всё-таки женился, вырастил дочь, переехал из барака в маленькую квартирку. И лишь потом, реабилитация. Вручение медали за оборону Севастополя.

 Ему всегда было немного не по себе, что он, Степан Куликов, дожил до этой новенькой блестящей медальки. Было неловко, что не получил эту медаль Игнат, и те парни на скалистом берегу. Недотянули и те, кто делил с ним тонкие картофельные очистки в Бухенвальде, кто стоял часами на лагерном построении под ледяным ветром, кто долбил вместе с ним киркой замёрзшую землю. Все они, кого Степан знал по именам, и те, кого просто помнил в лицо, и ещё, длинные, бесконечные вереницы вечно идущих под конвоем мальчишек. Не дожили. От этого Куликову становилось больно на душе.

 Было Степану нехорошо всякий раз, когда его приглашали на встречи ветеранов и юбилеи. Несмотря на это, он почти всегда соглашался принимать в них участие, но был молчалив и печален. Его охватывали тяжёлые воспоминания, которые ещё много дней после этих встреч не давали ему покоя. Все послевоенные годы не отпускали его и мысли об Алексее. Как же он мог так со мной поступить? Что с ним? Жив ли теперь?

 Стало Степану не по себе и в этот раз, когда его пригласили на открытие мемориала защитникам тридцать пятой батареи Севастополя.

 Организаторы встречи ветеранов решили рассаживать приглашённых в зале по фамилиям, в алфавитном порядке. Степану Куликову достались соседи на букву «К». И как много лет назад в одном ряду с ним снова оказался человек по фамилии Куликов.

 – Лёшка! Здравствуй, подлец!

 Напротив Степана стоял седой старик. На его груди были медали за Прагу и Берлин, орден отечественной войны второй степени и множество других наград. Он с большим трудом держался на деревянных костылях. Левая нога его была ампутирована. Увидев Степана, старик задрожал всем телом. Выпустил костыли, которые с грохотом упали на гранитный пол мемориала. Старик протянул руки вперёд и начал медленно заваливаться на Степана.

 Воцарилась гробовая тишина. Послышались, чьи-то возгласы с просьбой срочно позвать врача. Администратор мероприятия уже вызывал неотложку. У кого-то на руках заплакал грудной ребёнок. Его крик громким эхом разлетался в холодной пустоте зала.

 Алексей всем своим телом повис на Степане, обхватив его шею руками.

 – Прости меня, Стёпка…

 Крупные слёзы текли по его изрезанному морщинами лицу. Он дрожал всем телом. В тишине было слышно, как звенят, ударяясь друг о друга, его медали. Сильные руки Степана держали весящего на его плечах безногого товарища. Эти грубые, мозолистые ладони вытирали с лица Алексея слёзы.

 – Спасибо тебе Лёшка, – вырвалось невольно у Степана, – спасибо тебе, что пришёл. Как хорошо, что ты пришёл. Потом всё расскажешь. Потом Лёша…

 Они так и стояли всё время, обнявшись, а над Севастополем уже поднималось жаркое июльское солнце. Оно светило над нашим Севастополем…

# Красная скрипка

Республика Крым. Судак. Улица Ленина. Чёрный обелиск с непонятной витиеватой надписью на татарском языке. На ступеньках у подножья этого камня маленький сухой старик в расшитой разноцветными нитями татарской тюбетейке. Глаза его закрыты – он играет на скрипке. Я бросаю мелочь в раскрытый у ног старика скрипичный футляр.

 Это дедушка Энвер. Мы с ним знакомы уже третий день. Меня привлекла его странная скрипка. Зачем-то Энвер выкрасил её в ярко-красный цвет. Загорелые, изрезанные глубокими морщинами руки Энвера выводят незатейливую мелодию. Звуки скрипки то пронзительно стонут нестерпимой болью, то тихо грустят, переливаясь горным эхом, то словно зовут и ищут кого-то, давно потерянного на каменистых Крымских дорогах.

 Мелодия вращается по замкнутому кругу. Медленно и плавно, как стальное колесо столыпинского вагона в мае 1944-го. Вот он, маленький Энвер, стоит возле железнодорожного состава, прижимая к груди скрипку. Он смотрит широко раскрытыми чёрными глазами на мать, которая, стоя на коленях, долбит в земле небольшую ямку. Нет. У этой мелодии есть начало, и оно не здесь.

 Начало этой музыки в ноябре 1941-го, когда в село, где жил маленький Энвер вошли немцы. Местные жители толпами высыпали на улицы, чтобы посмотреть на немецкие колонны. Женщины боязливо жались к стенам своих жилищ, смотрели исподлобья, боялись нечаянно встретиться взглядом с одним из этих серых, как будто металлических существ. Старики с тревогой выглядывали из окон домов. Лишь вездесущие мальчишки, сидя на заборах, с любопытством рассматривали здоровенных немецких лошадей, тянувших за собой орудия на чёрных резиновых колёсах.

 Они шли и шли мимо дома Энвера нескончаемой вереницей, наполняя улицу запахом пороха и гари. Их грубая, непонятная речь казалась Энверу каким-то страшным проклятием, произносимым во весь голос, над его родным селом.

 На  мгновение колонна остановилась, и Энвер увидел напротив себя очень молодого солдата лет восемнадцати, сидевшего на лафете орудия. Новобранец заметил взгляд Энвера, и его поза тут же приобрела наигранную важность, а щёки покрылись румянцем.

 Немцы расклеили по всей улице объявления на русском и татарском языке, но Энвер, закончивший перед войной лишь первый класс, никак не мог понять этих мудрёных слов.

 – Мама, а что значит автономия и социальная справедливость? – спрашивал Энвер.

 – Это значит, что они обещают нам счастливую жизнь, – отвечала мать с грустью и тревогой в глазах.

 – А ты им не веришь, да? Потому что наш папа ушёл с ними воевать? А если они узнают, что наш папа воюет в Красной армии, они не убьют нас?

 – Не знаю милый, что будет — то будет. Старайся поменьше об этом говорить.

 Мать в тот же день убрала подальше висевшую на стене фотографию мужа в военной форме, а Энвер вспомнил, что после ухода отца на фронт он остался старшим мужчиной в семье и должен заботиться о младшем брате Нари и крохотной сестрёнке Фати.

 В первый же день немцы начали делать жизнь Энвера счастливой.

 Они забрали всё заготовленное на зиму продовольствие, зарезали козу с козлятами и всю птицу. Оставался  лишь  мешок муки да корова, половину надоя от которой нужно было отдавать в местную управу.

 На второй день во двор Энвера заехала легковая машина. Энвер и Нари с удивлением смотрели на этот диковинный аппарат. Из автомобиля вышел долговязый и очень худой офицер в начищенных до блеска чёрных сапогах и новенькой серой форме с орлом на груди. Его светлые волосы были зализаны назад, а круглые очки в тонкой оправе то и дело сверкали ослепительными бликами.

 Офицера звали Готфрид. Он бесцеремонно поселился в доме Энвера, занимая все комнаты, кроме самой маленькой полуподвальной, куда и перебрались мама с Энвером, братом Нари и грудной сестрёнкой Фати.

 С наступлением зимы полевые работы прекратились, школа закрылась, и когда матери не нужна была помощь Энвера по хозяйству, он старался убежать к дяде Айдару, маминому старшему брату.

 Дядя Айдар потерял ногу ещё в Первую мировую войну и немцев откровенно недолюбливал. Зато руки у дяди были золотые. Со всего села несли к нему в починку патефоны и примуса, обувь и инструмент. Когда ещё до войны в колхозе ломался единственный трактор, никто не смел вмешиваться в процесс ремонта. Посылали за Айдаром и терпеливо ждали, пока тот на своих костылях прибудет к месту поломки.

 Ещё дядя Айдар был известным весельчаком. По выходным он играл на своей скрипке в сельской чайхане. На его импровизированные концерты непременно собиралась вся округа. Энвер был беззаветно влюблён в дядину скрипку, и Айдар потихоньку учил племянника премудростям игры на этом инструменте.

 При немцах дядя Айдар начал играть в чайхане каждый вечер. Поговаривали о связях дяди с партизанами, но Айдар всячески отрицал подобные слухи. Он изо всех сил старался угодить собиравшимся послушать его игру немецким офицерам. Вскоре по вечерам на его концерты в чайхане стало собираться чуть ли не всё расквартированное поблизости немецкое командование. Бывший колхозный сторож Борзунов, непризванный в Красную армию в силу преклонного возраста, окрестил дядю немецкой подстилкой, что, впрочем, не мешало Айдару каждый вечер зарабатывать в чайхане свой кусок хлеба.

 Всю зиму Энвер брал у дяди уроки игры на скрипке и неплохо преуспел в этом обучении.

 Однажды весной, в день своего рождения, дядя Айдар пришёл на концерт в чайхану с огромным фанерным чемоданом. На вопросы о его содержимом  Айдар заявил, что в день своего рождения будет угощать после концерта собравшуюся публику брагой. В тот вечер в чайхане яблоку было негде упасть. Все немецкие фуражки не помещались на старой вешалке. Их бросали на подоконниках и столах.

 В середине концерта дядя неожиданно объявил антракт и вышел на улицу закурить папиросу. Прикурив, Айдар спокойно повесил скрипку на плечо и, взяв поудобнее костыли, поковылял по улице прочь.

 Когда дядя удалился от гудевшей чайханы на внушительное расстояние, раздался оглушительный взрыв такой силы, что куски красной черепицы с её крыши находили потом далеко за пределами села.

 Началась невероятная паника. Туда-сюда сновали немецкие грузовики, солдаты палили из автоматов по кустам в полумраке, кто-то пытался тушить начавшийся пожар. Столпотворение продолжалось до полуночи.

 Тем временем, дядя Айдар, проходя мимо дома Энвера, торжественно вручил ему свою скрипку.

 – Держи, брат! Береги её. Это тебе в честь моего дня рождения.

 – Что там случилось, Айдар? – испуганно спросила мать.

 – Праздник, – усмехнулся дядя Айдар и, переложив папиросу из одного угла рта в другой, зашагал прочь.

 На следующий день нацисты объявили, что если жители не выдадут властям устроивших взрыв партизан, то каждый день будет расстреляно по десять жителей села. Для начала они схватили первых попавшихся на улице женщин и стариков. Их заперли в колхозной конюшне в ожидании исполнения приказа.

 Улицы  мигом опустели. Из разных концов селения то и дело доносились причитания и стоны. Ночь прошла в состоянии гнетущего страха. Наутро на улице послышались голоса. Прошёл слух, что партизаны пойманы и можно выходить из домов. К обеду Энвер с матерью решились пойти на рынок, чтобы сменять крынку молока на муку.

 На площади у рынка появилось странное сооружение похожее на турник из физкультурного зала школы. Только сделано это творение было из неотёсанных досок. Подойдя ближе, Энвер увидел, что с перекладины свисает верёвка, на которой болтается человеческое тело. По отсутствию правой ноги Энвер узнал дядю. Голова его опустилась на грудь, и лица было не видно. Запястья связаны за спиной колючей проволокой.

 Мать в оцепенении застыла посреди площади, разведя руки в стороны. Она хотела подойти к брату ближе, но боялась. Хотела куда-то бежать, но не знала куда. Что-то делать, но не знала – что. На лице её застыл ужас. По щекам градом катились слёзы. Энвер постарался как можно быстрее увести маму домой. Там она  весь день лежала без движения на кровати, отказываясь что-либо делать. Под вечер её привела в чувства своим криком маленькая голодная Фати.

 Наутро в комнату заявился Готфрид. С помощью одетого в нацистскую форму уроженца соседнего села Басыра, перешедшего на службу в гитлеровскую полицию, он объяснил, что выселяет хозяев из дома в хлев, потому что теперь проживание офицера в одном доме с местными жителями запрещено.

 Мама перенесла самые необходимые вещи в хлев и семья Энвера заняла там место, освободившееся после потери козы с козлятами. Зато корова теперь была совсем рядом и радостно тянула морду, удивлённо рассматривая всех своими большими добрыми глазами.

 По вечерам Энвер играл на скрипке то, что успел выучить с дядей. Он усвоил главный дядин постулат, который тот повторял многократно. Душа руководит рукой – рука руководит инструментом – инструмент питает душу.

 Эти слова были для Энвера куда понятнее социального равенства и автономии.

 Мама, слушая игру Энвера, качала головой: «Весь в Айдара, Господи, что ты сделаешь в юности, мой сынок? Вот вы бедовые все у меня».

 Ничего страшного сделать Энверу в ближайшее время не пришлось. Жизнь их семейства при оккупантах становилась всё суровее. Виселица на площади наполнялась каждый день всё новыми и новыми людьми. В небе стали появляться самолёты с красными звёздами. Это приводило в бешенство расквартированных в посёлке офицеров.

 Готфрид со своим адъютантом ежедневно уплетали тушёнку. Пустые жестяные банки выкидывались ими через окно во двор дома. Когда банок во дворе скопилось достаточно много, маленький Нари нашёл им применение.

 Он пробил их днища гвоздём и связал несколько банок одной верёвкой, устроив, таким образом, воображаемый поезд. Нари таскал его за собой по двору. Банки гремели, и Нари чувствовал себя настоящим железнодорожником.

 Таким же, как другой его дядя Карим, который был машинистом до войны, но при оккупантах пустил свой состав под откос, пожертвовав при этом собой.

 Игры Нари с банками раздражали Готфрида.

 Целыми днями он сидел во дворе и писал какие-то бумаги. Сидя на невысокой скамейке и растопырив в разные стороны свои длинные ноги, в начищенных сапогах, немец был похож на большого паука с маленькой головой в сверкающих на солнце очках.

 Когда в очередной раз Нари подобрал возле сапог Готфрида пустую банку, тот нервно вскочил на ноги и выхватил из кобуры маузер.

 Ничего не подозревавший Нари мирно ковырял банку гвоздём. Прогремел выстрел. От испуга мальчик упал на землю. Банки раскатились в разные стороны. Готфрид ещё два раза пальнул в воздух, завершив  урок фразой: «Kennen Sie Ihren Platz Schwein». («Знай своё место, свинья».)

 Маленький Нари поднялся с земли, вытер нос и ушёл, унося свой паровозик с таким взглядом, от которого Готфриду стало ясно, что в Крыму никогда не будет для немцев спокойной жизни.

 Готфрид снял очки, провёл ладонью по лицу и посмотрел на запад. Какое-то ругательство слетело с его уст. Он вынул из кобуры протирку и начал драить свой маузер.

 Почти три года виселица на площади у рынка ежедневно наполнялась повешенными. Три года карательные отряды жгли сёла и угоняли жителей полуострова в рабство. Изымали у местного населения всё продовольствие и скот, обрекая на голод стариков и детей.

 Каждый день мимо дома Энвера под конвоем Басыра проводили арестованных. То за укрывательство еврейских детей, то за утайку килограмма муки, то за исполнение вслух советской песни. Арестованных вели в комендатуру. Обратно не возвращался никто. Все знали, что эта дорога  всегда только в один конец.

 Однажды мимо дома Энвера гнали стариков Ахметовых с соседней улицы. Их дочь, татарка, вышла замуж за еврея и внучка была наполовину еврейкой. Кто-то из соседей за стакан муки сообщил об этом властям. Полицаи пришли арестовать трёхлетнюю внучку. Старуха Ахметова схватила внучку на руки и упала на колени перед карателями. В слезах она умоляла оставить ей ребёнка. Те цинично предложили ей пройти в комендатуру самой. Все понимали, что это значит, но женщина не смогла отдать фашистам ребёнка и пошла. За ней пошёл и старик Ахметов.

 Их так и гнали по улице троих. Босых и полураздетых. Впереди растрёпанная старуха с плачущим ребёнком на руках, за ней седой старик, почерневший от горя, а следом Басыр, с подаренной немцами губной гармошкой.

 Назад Басыр возвращался один. Он был навеселе и задорно подмигнул Энверу, сидящему на заборе.

 – Не захотели сдать жидовку. Вот и сгинули из-за неё. А я-то что? – сказал Басыр, будто оправдываясь.

 Он прислонился плечом к забору, на котором сидел Энвер и начал справлять нужду.

 – Тоже мне малахольные, – бормотал себе под нос Басыр.

 Со временем в голове Энвера всё чаще возникали мысли о партизанах. Говорили, что четырнадцатилетний Салават из соседнего дома ушёл к партизанам и теперь воюет где-то в горах.

 За последнюю зиму, несмотря на постоянный голод, Энвер вырос на целый вершок. Он ненавидел оккупантов, и ему страсть как хотелось уйти к партизанам. Но как оставить мать, сестру и брата? Отец велел беречь их, ведь Энвер теперь был старшим мужчиной в семье.

 Всё чаще он доставал подаренный отцом перед войной охотничий нож. Энвер вынимал его из кожаных ножен, любуясь сверкающей сталью лезвия и костяной рукоятью с бронзовыми вставками.

 Конец всему пришёл неожиданно. В мае 1944-го оккупанты начали поспешно собираться. День ото дня их отступление приобретало всё более хаотичный характер, и к середине дня пятнадцатого мая в селе воцарилась полная тишина.

 Семья Энвера перебралась обратно в свой дом. Первыми были сожжены в печи все оставшиеся от нацистов листовки. Вернулся на место и портрет отца. У Энвера родилась в тот вечер новая, прекрасная мелодия. Он был несказанно рад, что какая-то рука свыше даёт ему эти звуки и помогает его пальцам их исполнять.

 Под утро по улицам села зашагали красноармейцы. Они были худы, оборваны, но веселы и приветливы. Родная русская речь воодушевляла. Им несли молоко, хлеб, а у кого не было ничего, протягивали просто воду. Бойцы с радостью пили воду и целовали выбежавших к ним женщин. Поднимали на руки детей. Обнимали старух.

 Всё это очень быстро кончилось. Под вечер все улицы были оцеплены бойцами в фуражках с синим околышем. Эти люди уже не были разговорчивы. Их лица были сытые, холёные и не располагали к общению. Появление этих людей вообще было странным и не вписывалось в ту картину борьбы за свободу, которую представлял себе Энвер.

 Ночью в окно дома Энвера раздался стук. Испуганная мать в одном белье открыла дверь и тут же была прижата к стене автоматом ППШ.

 – Кто живёт в доме? Сколько вас? Есть лица мужского пола?

 В испуге мать назвала имена Энвера и Нари. В эту минуту в комнату  ворвались ещё четверо солдат, но убедившись, что это дети они быстро покинули дом.

 Остались лишь двое. Маленький сухой почти старик и крупный молодой рыжеволосый парень. Они объявили, что всем предписано в десять минут собраться и покинуть дома.

 Рыжеволосый солдат бесцеремонно начал рыться в вещах и тут же запихал себе в карман мамины серьги, обнаруженные им в комоде. Увидев это, мама вскрикнула и хотела что-то возразить, но холодный и наглый взгляд солдата и чёрное дуло автомата, направленного в лицо матери, заставили её замолчать. Пожилой солдат с негодованием обратился к здоровяку, но тот лишь оскалился кривой улыбкой и продолжал грабить.

 Мать успела взять документы, фотографию отца и небольшой свёрток муки. Быстро запеленала Фати, накинула шаль и выскочила на улицу. Энвер, конечно же, взял скрипку,  сунул за пазуху подаренный отцом нож в кожаном футляре, схватил за руку брата и последовал за мамой.

 Улица уже была полна людей. Соседка Авдеева, бывшая женой председателя колхоза татарина Султана, ушедшего добровольцем на фронт, на чём свет стоит материла конвой.

 – Что же вы аспиды делаете? Кто это придумал, выселять людей без разбора? Совесть у вас где? Сволочи. Я член партии с девятнадцатого года, в гражданскую воевала. Я самому Сталину писать на вас буду, гниды тыловые.

 – Мама, а кто такие гниды тыловые? – спросил Нари.

 – Это плохие люди. Не повторяй больше никогда эти слова сынок.

 – Они предатели? Немцам помогают? Их Готфрид прислал? – не унимался Нари.

 – Я не знаю точно. Нам нужно молчать. Не говори, пожалуйста, ничего. Пойдём, куда они скажут.

 Всех сгоняли на рыночную площадь, где всё ещё красовалась построенная фашистами виселица.

 – Почему они не разрешают нам брать с собой вещи? – раздавались вопросы в толпе.

 –  Нас расстреляют, – обронил кто-то.

 – Не может быть, – загудели в толпе, – окопы рыть повезут, рабочая сила нужна.

 – Какая тут сила, старухи да дети, – возражали другие.

 – Не могут советские люди своих расстрелять, это же не фашисты, – успокаивали третьи.

 – Я на вас всех самому Сталину напишу! Под суд пойдёте! – продолжала орать Авдеева.

 Тем временем на площадь подогнали грузовики. Откинули борта, скомандовали садиться.

 – Да что вы, в самом деле? Озверели? – заорал седой старик, опиравшийся на деревянную палку, – мне девяносто два года. Зачем мне ехать? Дайте мне спокойно помереть в своём доме.

 – А ну пошёл в машину, дед, – приказал офицер и приблизился к старику.

 – Я не поеду! – истошно заорал старик и замахнулся палкой на офицера.

 Раздался треск  автоматной очереди. Двое солдат тут же отволокли тело убитого в сторону, к забору.

 На площади воцарилась тишина. Люди молча и поспешно лезли в грузовики. Одна за другой машины покидали площадь. Последним подняли борт у полуторки, в которой был Энвер. Водитель завёл двигатель.

 В этот момент Нари, усевшийся было возле матери, вскочил на ноги.

 – Паровозик! Я забыл дома свой паровозик! – Нари с ловкостью мартышки перескочил через дощатый борт машины и кинулся к дому.

 На руках у матери была Фати, и она не успела остановить сына. В её глазах застыл ужас.

 – Нет, Нари, нет! – заорала она так, что сидевшие рядом люди невольно пригнули головы. Мать бросила Фати на колени Энверу и вскочила, подбирая подол юбки, чтобы вылезти из кузова.

 Стоявший ближе всех конвойный лязгнул затвором автомата и прицелился. Нари со всех ног бежал к дому. Конвойные, стоявшие по краям площади, уже начинали расходиться, но один из них ещё не успел покинуть своего места. Это оказался тот самый здоровяк, прихвативший серьги. Ударом приклада он сбил с ног бежавшего мальчишку. Нари скатился в придорожную канаву и затих. Двое других тут же вытащили тело мальчика и забросили его обратно в грузовик.

 Мать схватила Нари и прижала к себе. Он тяжело дышал широко открытым ртом. Глаза его  рассеянно смотрели в серое небо. Удар пришёлся в висок. Над ухом мальчика расползалось огромное фиолетовое пятно. Мать трясла Нари, пытаясь услышать его голос, но брат ничего не отвечал.

 Спустя несколько часов машины приехали на железнодорожную станцию. Грузовики подогнали вплотную к вагонам теплушкам для перевозки скота и быстро перегнали  туда людей. В толпе начали осторожно переговариваться.

 – Не расстреляют. Иначе, зачем так далеко везти?

 Вагон, в который погрузили Энвера, был изрешечён пулевыми отверстиями как сито. Сквозь эти дыры внутрь пробивались лучи восходящего солнца. Измождённые и голодные люди вповалку набились в вагон. Людей было столько, что лечь можно было лишь, сильно поджав под себя ноги. Стояла невероятная духота. Мать оторвала подол юбки и перевязала голову Нари. Мерный стук колёс погрузил вех в тяжёлое и душное марево сна.

 Энвер очнулся, когда оранжевое от заката небо показалось в узеньком, закрытом решёткой оконце под потолком вагона. Густой тягучий смрад наполнил собой воздух. Энвер почувствовал, что к этой удушающей тяжести добавился какой-то новый незнакомый, резкий и пугающий запах. С каждым часом этот запах усиливался. Людей мучала жажда. Воды не было.

 На второй день в полу вагона выломали узкую дыру, ставшую для всех отхожим местом. Пробираться к ней нужно было ползком, по телам людей, которые иногда поджимали ноги, позволяя проползти, а иногда лежали неподвижно, не чувствуя чужих прикосновений.

 Вскоре тяжёлый запах стал нестерпим. Энвер заметил, что вокруг старушки, лежащей неподвижно неподалёку, образовалось узенькое свободное пространство. Все старались не прикасаться к ней и отворачивали лица. Её накрыли с головой какими-то тряпками, но страшный смрад по-прежнему усиливался.

 Наутро третьего дня пути вагон встал. В наступившей тишине Энвер вдруг услышал жужжание невероятного количества мух. Они облепляли тела людей, потерявших силы отмахиваться. На улице послышались голоса конвойных. Обессилевшие люди начали стучать в стены вагона. Просили пить.

 Через некоторое время дверь  приоткрылась. В неё просунули бидон мутной воды и выгрузили из вагона умерших. Таких оказалось четверо. Дышать стало чуть легче, но теперь к путникам пришла новая беда — голод.

 Многие были на грани истощения и до выселения, ещё при немцах. Утром, открывая глаза, Энвер тут же чувствовал, как начинает ныть в животе. Затем это ощущение нарастало, и появлялась непрекращающаяся боль, будто какой-то зверь рвал его изнутри когтями. Многие люди начинали сходить из-за этой боли с ума. Постоянно старались хоть что-нибудь съесть, наполнить желудок. Подолгу жевали ремни и куски кожаной одежды. Когда давали бидон тёплой воды, становилось легче. Энвер ощущал, как жидкость  заполняет всё внутри, и это ненадолго приносило успокоение.

 На четвёртый день состав сделал короткую остановку на маленьком полустанке в голой степи. Двери вагонов открыли и людям разрешили выйти. Полустанок был оцеплен плотным кольцом конвоя. Из нескольких полевых кухонь раздавали по черпаку еле тёплой жидкой баланды, но и она быстро закончилась. Хватило лишь тем, кто смогли первыми выбраться из вагонов.

 Через полчаса всех загрузили в поезд и путь в неизвестность продолжился. Никто не мог точно ответить, куда и зачем везут этих несчастных женщин, стариков и детей. Раз или два в сутки состав останавливали в безлюдном месте. Конвой пересчитывал пассажиров. Умерших от голода или болезней выносили из вагонов и оставляли у полотна дороги. Живым разливали по черпаку баланды и снова по вагонам.

 За несколько дней Энвер, слушая разговоры конвойных, выучил имена многих из них. Рыжеволосого вора звали Голубь, а его маленького пожилого напарника – Каменьков. Энвер возненавидел Голубя. Засыпая, он представлял себе, как товарищ Сталин расстреливает из пулемёта врагов народа. Враги в виде буржуев и фашистов выстроились в огромную очередь. Первый в ней стоит Голубь, нагло смотрящий на товарища Сталина. После воображаемой казни Голубя сон сразу одолевал Энвера, глаза слипались, и под мерный стук колёс он проваливался в тёмную пустоту.

 На пятый день пути мать сняла повязку с головы Нари. Пятно на его виске стало чёрным и превратилось в большую безобразную вмятину. Все эти дни он ничего не ел и лишь просил пить. Казалось, что Нари ничего не слышит, потому что он не отвечал на вопросы и не поворачивался на голос. На ближайшей остановке мама попросила Каменькова  найти врача.

 – Эх, дочка, откуда же тут в степи врач? Здесь и фельдшера-то за сто километров нет. Вот потерпи, доберёмся до Уральска, так там, может быть, сыщется. Я уж поспрашиваю.

 Каменьков достал из-за пазухи краюху хлеба и, отломив половину, протянул её матери.

 – На вот, поешь сама-то, да пацанов своих покорми. А то одни глаза остались, исхудали совсем. Вот оно, видишь, как.

 Каменьков провёл ладонью по затылку и его глаза с тоской устремились куда-то вдаль, поверх запылённых вагонов.

 В Уральске поезд не остановился. Состав проходил без остановок все крупные города и часами стоял на пустынных разъездах.

 На следующей станции Каменьков привёл к Нари полного солдата с красным небритым лицом.

 – Вот, дочка, это Степан. Он в госпитале медбратом был. Пусть хоть  посмотрит сынишку. Другого всё одно тут не сыщем.

 Степан долго разглядывал висок Нари под разными углами. Осторожно касался пальцем его головы и тревожно вздыхал.

 – Не знаю я. В госпиталь надо. Плохо тут дело, – заявил Степан.

 – Эх ты, Господи. Вот оно, видишь, как, – тяжело вздохнул Каменьков.

 – Обещал махорку за осмотр, так давай сыпь, – немного стесняясь, пробурчал Степан.

 Каменьков вынул из кармана кисет и отсыпал Степану махорки.

 На следующее утро Энвер проснулся от странного режущего ухо звука. Поначалу ему показалось, что поезд сошёл с пути. Это был протяжный и пронзительный не то вой, не то скрежет. Открыв глаза, он увидел, что все вокруг взволнованно смотрят на них с матерью. Фати лежала на полу, а мама держала на руках Нари. Она раскачивалась из стороны в сторону издавая этот страшный и неведомый доселе Энверу звук. Только сейчас Энвер понял, что мама рыдает.

 Какая-то старуха начала нараспев читать молитву. Говорили, что в соседнем вагоне едет старик, бывший мулла. Надо бы на ближайшей остановке его позвать.

 Под вечер поезд остановился. Звали муллу. Но оказалось, что он настолько слаб, что уже не может выйти из вагона. Вместо него пришёл дежурный офицер НКВД и, полистав какой-то журнал, вычеркнул из него карандашом одну строчку. Так он делал каждый раз, когда в вагоне кто-то умирал.

 До этого умерших просто оставляли вдоль железной дороги. Хоронить не было, ни времени, ни возможности. Нари стал первым.

 Каменьков раздобыл где-то лопату и выдолбил в затвердевшем песке небольшую яму. Глядя на то, как Каменьков капает, дежурный офицер вопросительно поднял брови.

 – А что это ты, боец Каменьков, с врагами народа всё якшаешься, как я погляжу? Подкармливаешь. Похороны им устроил. Мало тебе было одного штрафбата? Не угомонишься никак? – офицер, прищурив глаз, вертел в руке карандаш.

 – Господь с вами, товарищ капитан. Какие же это враги? Бабы да ребятня.

 – Политическая близорукость, Каменьков! – капитан обернулся в сторону полевой кухни, откуда потянуло дымком, и отправился налить себе чаю.

 Когда всё было кончено, Каменьков вытер со лба пот и трижды прочитал над маленьким земляным холмиком Отче Наш.

 – Вот оно видишь, как. Не плачь, дочка, терпи. Господь терпел и нам велел, – Каменьков скрутил папиросу и закурил.

 В этот момент капитан с кружкой чая возвращался обратно.

 – Ты что? Совсем сдурел, боец? Что над ним молиться? Это же татарин был. Нехристь.

 – Татарин, не татарин, а Бог – он для всех один, – пробормотал себе под нос Каменьков.

 – Ой, допрыгаешься ты, старый, точно допрыгаешься. Донесут комиссару о твоих проделках, и пойдёшь по новой в штрафники.

 В этот вечер состав стоял необычно долго. Когда стемнело, конвойные развели возле вагонов костры, согреваясь от ночного холода.

 – Шли бы вы к костру погреться, – прошептала мама  Каменькову, – и так вам из-за нас достанется от начальства.

 Энвер почувствовал, что мама немного успокоилась. Ему казалось, что именно присутствие этого старого солдата окружило их обоих каким-то успокаивающим теплом.

 – Да что там, – махнул рукой Каменьков, – мне уж ничего не страшно. И на передовой был и в штрафбате. Как искупивший кровью, возвращён в строй. Потом снова тяжёлое ранение, госпиталь. Теперь вот сюда отправили.

 – За что вас в штрафбат? – Тихо, еле слышно спросила мать.

 – Под Сталинградом немцев в плен полно поздавалось. Их особо и не конвоировали. Куда им деться? Мороз за тридцать. Идут по дороге, куда им велено. Обмороженные все, безоружные, полуголые. С дороги свернёшь – верная смерть. Они и топали сами в сторону бараков, куда приказали. Смотрю, офицер наш из интендантской службы, тыловик, вытащил одного пленного, поставил в поле и стреляет в него из трофейного маузера, тренируется. Раз выстрелил, другой, всё не попасть никак. Не выдержал я этой картины. Как же так? Человек ведь всё-таки, хоть и враг. Он же сдался в плен, и мы ему жизнь за это гарантировали. А эта крыса тыловая живую мишень решил сделать. Стрелять тренируется. Ну, я и съездил по морде тому офицеру. Получается, как за врага заступился. Так в деле и записали. Вот оно видишь, как.

 В тот вечер поезд так и не тронулся. Конвойные где-то достали для согрева спирт. Всю ночь у костров слышался пьяный смех. Энвер пытался заснуть, представляя товарища Сталина, расстреливающего врагов, но теперь это не помогало. Ему хотелось самому встать к пулемёту. Он видел пред собой огромное тело Голубя, и ненависть переполняла душу Энвера до дрожи.

 Ночью Энвер проснулся. Дверь вагона была приоткрыта. Сквозь эту щель он увидел догорающий костёр и висящий над ним солдатский котелок. Еле уловимый запах пригорелой каши заставил Энвера подняться и подползти к двери. В вагоне все спали. Мальчишка просунул голову в щель. У тлеющего костра никого не было.

 Энвер скользнул в дверь и мигом очутился возле котелка. В этот момент угли на ветру вспыхнули чуть ярче, и Энвер увидел лежащего на земле Голубя. Он был мертвецкий пьян. Возле него валялась жестяная кружка и незакрытая фляга. Мерцающие угли освещали багровым светом его жирную лоснящуюся шею. Решение сверкнуло в голове Энвера подобно разряду молнии.

 Он вытащил из-за пазухи отцовский нож, который всё это время тщательно прятал и приблизился к своему врагу. Тут же вспомнилось, как отец учил Энвера резать к празднику барана. Одним ударом. Точно и без колебаний. Энвер сжал в ладони рукоятку ножа и занёс руку.

 – Не делай этого, сынок, – тихо прошептал кто-то сзади.

 Энвер в ужасе застыл с поднятой в воздухе рукой.

 – Не надо так делать. Проживи жизнь с чистой совестью. Пусть она и не будет лёгкой, но так лучше, поверь.

 За спиной Энвера показалась тень. По мягкому голосу мальчик узнал Каменькова. Тот стоял в нескольких шагах позади и не спешил приближаться.

 Энвер почувствовал, что вся сила, которая мгновение назад была сосредоточена в его руке для нанесения удара, разом исчезла. Теперь он не смог бы, наверное, перерезать ножом и волоса. Ноги его вдруг стали ватными, а в висках, как бешеная белка в колесе, стучал пульс.

 Каменьков подошёл ближе и обнял мальчика. Энвер прижался щекой к его гимнастёрке, пахнущей пылью и махоркой. Холодная металлическая пуговица, как маленький ледяной компресс, остужала горячий лоб Энвера. Угли совсем догорели, и наступила темнота. Грубая, тяжёлая ладонь солдата медленно гладила стриженый затылок Энвера.

 – Вот оно, видишь, как, – шептал Каменьков, – ничего, ничего.

 Каждое утро солнце светило тонкими косыми лучами сквозь пулевые отверстия в стенах вагона. Мучительное ощущение голода было первым, что Энвер чувствовал, просыпаясь. Мама почти ничего не ела, отдавая Энверу выданные ей сухари и часть баланды. Но  это не сильно помогало. Энвер чувствовал, что ноги уже плохо держат его и постоянно кружится голова. На каждой остановке из вагона выгружали по одному, а то и два, завёрнутых с головой тела. Иногда были силы и время захоронить их возле насыпи. Чаще просто оставляли  на земле. В вагоне становилось просторнее.

 На четырнадцатый день дороги перестала плакать Фати. Энвер боялся заговорить с матерью об этом. Он сидел молча возле матери и лишь изредка с тревогой поглядывал на её бледное измождённое лицо с провалившимися внутрь глазами и стеклянным безразличным взглядом, устремлённым куда-то сквозь грязную дощатую стену вагона. Она прижимала к груди завёрнутое в тряпицы тело Фати и молчала.

 На следующем полустанке стояли долго. Каменьков куда-то пропал и Энвер с мамой сами выдолбили в каменистой почве небольшую ямку для Фати. Обессиленные, они долбили землю по очереди. Когда мама опустилась на колени и начала копать, Энвер вдруг увидел, какая она маленькая. Казавшаяся ему всегда большой, мама, как будто уменьшилась, вся вжалась в себя, и Энверу казалось, что он возвышается над ней на огромную высоту своего роста. Он смотрел, широко раскрыв глаза, на маленькую маму у своих ног и не мог понять, как такое может быть. Вокруг медленно проплывали люди. Фигуры их растягивались, как в отражения в кривых зеркалах, нелепо изгибаясь и раскачиваясь. Потом в глазах стало темно.

 Энвер не помнил, кто погрузил их с матерью обратно в вагон. Он очнулся от резкого звука. Состав со скрежетом тормозил. Его ещё некоторое время болтало из стороны в сторону и, наконец, всё замерло. Послышались голоса конвоя и лай собак. Дверь открылась. Несколько пассажиров, с трудом переставляя ноги, выбрались наружу. Большинство оставались лежать в вагоне, лишь приподнявшись, чтобы посмотреть на улицу. В дверном проёме показалось лицо Каменькова.

 – Э, брат, так нельзя, – он на руках вытащил Энвера и мать на воздух и усадил спиной к стволу дерева.

 Через минуту он уже кормил обоих баландой из своей миски. Потом осторожно, нагнувшись и прикрывая Энвера своей спиной от лишних глаз, Каменьков достал из вещмешка краюху хлеба и, разломив её, протянул мальчику и матери.

 – Только медленно есть надо, понятно? Очень медленно. На этой станции паровоз будут менять. Нескоро ещё отправимся.

 Он достал нож и вытер его об измятый рукав пыльной гимнастёрки. Глаза его прищурились доброй улыбкой, и лучики морщинок побежали от глаз к вискам. Каменьков торжественно извлёк малюсенький бумажный свёрток и, бережно развернув его на ладони, аккуратно разрезал на три части кусочек сливочного масла.

 – Вот, теперь по кусочку маслица, – произнёс он как-то особенно ласково и благоговейно, протягивая вперёд ладонь.

 Каменьков сидел по-турецки, и Энверу была хорошо видна истёртая подошва его сапога, подбитая крупными ржавыми гвоздями. Из-под сбившейся набок пилотки торчали короткие седые волосы.

 – А меня намедни к комиссару таскали. Почто говорят, ты Иван Фёдорович так с врагами народа обходителен. Нешто ты, пролетарий, супротив советской власти с ними сдружился? А я им и говорю. Разве ж можно супротив советской власти? Я же только за. Разве ж советской власти угодно баб да ребятишек голодом морить? Советская власть она от народа. А значит к каждому голодному да несчастному с милостью. Вот и я так. В полной мере по-советски и поступаю. А иначе мне душа не велит. А они мне говорят: «Безграмотный ты, Иван Фёдорович, мужик». Не возьму я в толк, какая такая грамота нужна, чтобы неповинных стариков да детишек со свету сживать. Вот оно видишь, как.

 Ещё дней десять болтались в телячьем вагоне Энвер с мамой, пока не прибыли в Узбекистан. Всё это время Иван Фёдорович втихую совал Энверу сухари и одобрительно трепал его по макушке.

 – Ничего, брат, скоро уж война кончится. Тогда заживём мы с тобой.

 Мама по-прежнему ела плохо, отдавая Энверу половину своей баланды и сухари. Она всё время молчала, и глаза её теперь постоянно были устремлены в одну точку. Взгляд стал холодным и бессмысленным. Кожа на скулах обвисла. На кистях рук отчётливо проступала каждая косточка.

 За пару дней до прибытия пропал куда-то и Каменьков. Говорили, что он то ли арестован, то ли находится на допросе у комиссара.

 По прибытии всех переселенцев разместили в старых конюшнях. По три-четыре человека в каждое лошадиное стойло, служившее новосёлам отдельной комнатой. Выдали для благоустройства по мешку прошлогодней соломы и определили на работы по уборке хлопка.

 В первый же день работ в поле с мамой приключилась беда. При виде бескрайней, раскинувшейся до горизонта плантации хлопчатника она с диким хохотом начала вырывать из земли стебли и подбрасывать их в воздух. Её смогли успокоить, лишь окатив с головы до ног водой. После этого маму отвели под руки обратно в конюшню, где она и пролежала молча до следующего утра.

 Всё это время Энвер сидел рядом и иногда пытался заговорить с мамой. Она не отвечала ему. Её удивлённо поднятые брови натолкнули Энвера на страшную догадку. Она не узнавала сына. Энвер протягивал ей кружку с водой, и она пила, но взгляд её оставался по-прежнему безучастным. Только под утро мама вдруг подняла голову.

 – Энвер, – позвала она тихо, – дай мне руку.

 Она взяла ладонь сына  и закрыла глаза. Энвер сидел рядом на соломе. Через несколько минут из горла матери раздался негромкий хрип.

 – Что мама? Что? Я не разобрал. Мама?

 По неподвижно застывшему лицу Энвер понял. Это конец.

 Наутро все жители конюшни ушли на работы в поле. Выход на хлопковые плантации гарантировал двести грамм хлеба и баланду. Но даже голод не смог заставить Энвера покинуть тело матери. Весь день он как в тумане просидел возле неё.

 Под вечер вернувшиеся с работ женщины выкопали на задворках конюшни неглубокую яму. Энвер заметил, что поодаль уже есть несколько песчаных холмиков от свежих захоронений с деревянными табличками на татарском языке.

 Солнце быстро стремилось к линии горизонта. Огромный багровый шар заливал своим светом степь, окрашивая в красный цвет землю и фигуры, стоящих вокруг людей. Всё в один миг стало багрово-красным: и камни, и растения, и лица. Энвер стоял рядом с матерью, сжимая в руках гриф своей маленькой скрипки, с которой не расставался все последние годы. Его охватило чувство отчаянья. Как теперь можно на этом свете играть на скрипке? Как можно вообще, на чём-либо играть? Как могут звучать на земле любые  звуки, когда мамы больше нет? Когда никого больше нет? Должно наступить полное безмолвие. Навсегда.

 Энвер подошёл ближе и положил скрипку в руки матери. Никто не возражал. В лучах заходящего солнца покрытая лаком скрипка светилась рубиново-красным огнём. Становилось всё темнее и, казалось, только свет красной скрипки озаряет безмолвные лица людей. Она освещала их до тех пор, пока чёрные комья земли, падавшие вниз с каждым взмахом лопаты, не закрыли этот льющийся во все стороны свет.

 Задворки конюшни погружались во мрак. Люди, вздыхая, начали потихоньку расходиться. Энвер продолжал стоять у небольшого земляного холмика. Солнце село и в полумраке сразу же стало холоднее. Со всех сторон Энвера окутала пронизывающая до костей ночная прохлада, и только за спиной почему-то было тепло. Энвер затылком почувствовал присутствие за собой человека.

 – Вот оно, видишь, как! – услышал Энвер за спиной.

 Большие мятые рукава пропахшей дымом гимнастёрки обняли мальчика. Всё погрузилось в непроглядную чёрную ночь. Такую же угольно-чёрную, как обелиск на улице Ленина в посёлке Судак, возле которого играл дедушка Энвер.

 Я бросил ещё несколько монет в его скрипичный футляр. Старик перестал играть, открыл глаза и к чему-то внимательно прислушался. Вдалеке прозвенел школьный звонок. Энвер пересыпал монеты из скрипичного футляра в карман и бережно упаковал скрипку.

 Через минуту стая ребятишек со всех сторон облепила дедушку Энвера. Они все что-то наперебой щебетали ему, дёргали за бороду и залезали на плечи. Бойкая черноглазая девчушка первой вскарабкалась Энверу на колени.

 – Дедушка, а ты сегодня много заработал? А на шоколадное мороженое хватит? А на динозавриков хватит?

 – Конечно, Фати! Я же тут играл с самого утра.

 – Дедушка, а ты знаешь, как нужно в магазине выбирать, чтобы именно динозаврик попался? Ты не знаешь. Я тебя научу. Надо взять пакетик и пощупать, если там длинная шейка, значит, там динозаврик, а если короткая, значит, кто-то другой. А я только динозавриков собираю.

 – Хорошо, Фати, сейчас пойдём искать динозавриков, слезай, а то деду тяжело.

 Энвер поднялся и, осаждаемый со всех сторон щебечущей ребятнёй, направился в сторону супермаркета. Проделав несколько шагов, он остановился и обернулся ко мне.

 – Смотри, все мои внуки, все девять! Все родные – все Каменьковы!

 – Как? – удивился я, – почему Каменьковы?

 – Так и я же с сорок четвёртого года стал Каменьков. Вот оно, видишь, как…

# Новое чувство

Каждой весной Лиза с родителями и бабушкой переезжала на дачу. Нагруженная тюками и коробками папина машина мчалась по пыльной просёлочной дороге в направлении дачного посёлка. Это было последнее полностью беззаботное Лизино лето. Впереди была школа. Родители всячески давали ей понять, что впереди теперь более взрослая, ответственная жизнь, в которой часто нужно принимать самостоятельные решения и отвечать за свои поступки. По поводу своей возрастающей самостоятельности Лиза не чувствовала никаких опасений. Ей даже это нравилось, хотя играть хотелось ничуть не меньше прежнего.

Глядя из окна папиного автомобиля, Лиза придумала для себя новую игру. Она считала дорожных рабочих в оранжевых жилетках, мимо которых они проезжали, потом коров в поле, а уже у самой дачи – просто прохожих, попадавшихся навстречу. Последними в её арифметической игре были трое мальчишек, которые с любопытством разглядывали что-то на обочине, в нескольких шагах от Лизиной дачи.

Пока папа и мама разгружали вещи, Лиза побежала смотреть, что же так занимало ребят на краю дороги. К тому моменту мальчишек уже не было, а на земле сидел маленький котёнок. Не больше ладошки размером. Серый, пушистый с большими голубоватыми глазами. Он жалобно мяукал и дрожал всем телом.

Лиза осторожно взяла котёнка на руки. Он безропотно подчинился её воле, продолжая дрожать.

Родители долго разгружали вещи, обустраивались на даче и только к ужину заметили Лизу с котёнком на руках. Он немного успокоился, но продолжал испуганно осматриваться своими огромными голубыми глазищами.

Переезд на дачу прошёл относительно гладко. Мама с папой были усталые, но довольные. Котёнок сразу всем понравился. Ему дали тёплого молока и, не мудрствуя, окрестили Васькой. Мама сказала, что, возможно, он породистый. А папа предположил, что со временем от него будет польза, так как на даче иногда бывали мыши.

Постепенно Васька освоился. Он начал всех удивлять своей сообразительностью и весёлым добрым нравом. Для начала Васька доказал папе, что не собирается ходить в туалет в доме. Каждый раз, когда ему надо было выйти, он подходил к двери и сидел возле неё, пока кто-нибудь не шёл на улицу. Потом он точно так же сидел у двери снаружи, когда хотел вернуться в дом. Васька ел всё, что дадут, а спал в ногах у Лизы.

Спал он до того смехотворно, что даже папа приходил его фотографировать. Развалившись на спине, он закрывал передними лапами морду, а задние уморительно торчали вверх, выше его головы. Спустя месяц Васька стал звездой маминого и папиного инстаграма. Он весело скакал, гоняясь за солнечным зайчиком от папиных наручных часов, пулей взлетал на растущую во дворе старую яблоню и тихо урчал на руках у бабушки во время просмотра вечерних сериалов.

Васька был всеобщим любимцем не только в семье, но и среди соседей. За лето он подрос, окреп и превратился в настоящего красавца. Лиза не расставалась с ним ни на минуту. Во всех Лизиных играх и занятиях Васька был или непосредственным участником, или внимательным и любопытным наблюдателем. Они понимали друг друга с полуслова.

В этом году родители решили уехать с дачи пораньше, чтобы собрать Лизу в первый класс. Начались приготовления к отъезду. Папа таскал какие-то коробки с инструментами. Бабушка упаковывала банки с вареньем. А мама всё время кому-то звонила по поводу будущей Лизиной школы, в результате чего у неё разболелась голова и испортилось настроение.

Когда, наконец, всё было готово к отъезду, Лиза с плотно набитым рюкзачком и Васькой на руках подошла к машине. Из машины на Лизу смотрели три пары удивлённых глаз мамы, папы и бабушки.

– А этого зачем? – удивилась мама, глядя на Ваську, и схватилась за голову.

– Лизонька, мы же не сможем приучить его в квартире к туалету, – добавила бабушка.

– Конечно. Он наверняка обдерёт в квартире новые обои, – присоединился папа.

Лиза стояла, чуть не плача, и не выпускала Ваську из рук.

– Лиза, доченька, разве ты не помнишь, что мама мечтает завести маленькую собачку? – смягчился папа, увидев ужас на лице дочери. – Собаки и кошки не могут жить вместе. Ваське будет лучше остаться на природе.

Лиза всё сильнее сжимала в руках Ваську и, стиснув зубы, не трогалась с места.

Услышав про собачку, мама опять схватилась за свою больную голову и театрально застонала. В этот момент папино терпение лопнуло. Он выхватил Ваську из рук дочери и бросил на газон.

– Вот упрямая девчонка, – повторял папа, запихивая Лизу на заднее сидение автомобиля.

Обернувшись назад, Лиза ещё целую минуту видела, как Васька, выбиваясь из сил, бежал за машиной по пыльной дороге. Эта минута показалась Лизе вечностью. Она не плакала. Слёзы пришли к ней потом, вечером. Перед глазами всё время стоял бегущий изо всех сил Васька. Пять минут назад всеми любимый, он оказался ненужной дачной вещью. Сезонным развлечением, грубо и бесцеремонно выброшенным за ненадобностью. В душе Лизы медленно нарастало новое, неведанное раньше, чувство. Это была смесь решительности, хладнокровия и бесстрашия. Она перестала всхлипывать и вытерла слёзы. Ей почему-то вспомнился кадр из старого чёрно-белого фильма про войну. В этом кадре были глаза солдата, поднявшегося во весь рост, с гранатой в руке перед вражеским танком. Лиза отчётливо поняла, что не умеет и не будет мириться с несправедливостью.

В последующие три дня Лизу возили по магазинам, собирая к школе. Суета была страшная. Папа ругался на вечные пробки. Мама пила таблетки от головы. У бабушки подскочило давление. В конце концов, родители утомились и отправили несчастную бабушку вместе с Лизой покупать спортивную форму, а сами уехали на работу.

Надеясь хоть как-то вознаградить себя за труды, бабушка решила не упускать случая и подобрать себе в магазине давно полюбившуюся ей кофточку. Когда в шестой раз бабушка вылезла из примерочной, Лизы на диванчике возле кассы не оказалось. Не было там и бабушкиной сумки с деньгами и документами. Оббегав весь торговый центр, покрывшись мелкими капельками пота, бабушка позвонила папе. К вечеру в семье началась настоящая паника. Бабушку обвиняли в ротозействе. Папа звонил знакомым из полиции. Мама не находила себе места.

Всё закончилось поздно вечером. Когда на пороге квартиры появилась растрёпанная Лиза. У неё на руках спал обессилевший, грязный и мокрый Васька.

# Откуда ноги растут

Витенька был почти ангелом. В свои шесть с половиной лет он не слышал в жизни худого слова и даже не помышлял о том, что кроме тёплых рук мамы, существует что-то ещё. Разве что добродушная улыбка отца, большая толстая и мягкая бабушка, вечно хлопотавшая возле плиты, да ещё добрая тётя Светлана Борисовна, учившая Витю музыке и чистописанию.

Всё изменилось этим летом. Витиного папу назначили директором пионерского лагеря. Вся семья тут же переехала в это чудное место. В прекрасном сосновом лесу на песчаных холмах возле берега Финского залива Витя чувствовал себя на новой планете. Сквозь последние остатки съёжившегося снега проглядывала прошлогодняя брусника. Низкое весеннее солнце золотило раскидистые лапы прибрежных сосен. Жёлтый песок на пригреве был уже тёплым и по нему начинали бегать первые проснувшиеся муравьи. Прямо из этого песка торчали ветки колючего шиповника, на которых уже завязывались первые листья.

Витька бегал по всей территории лагеря, с любопытством изучая всё вокруг. Старая деревянная эстрада пахла сухой доской и пылью, новенький металлический сетчатый забор – свежей краской, корпуса после – зимы сыростью и свежей штукатуркой, котельная – углём и ржавчиной старых труб.

Всё это было так ново и так интересно.

Новым для Витьки оказался и мир людей, наполнивших лагерь. Сначала заехали сотрудники лагеря, многие со своими детьми. Витька впервые оказался в разновозрастной компании. Это было безумно увлекательно. Непривычная, полная впечатлений жизнь.

Сначала Витька познакомился с Антоном, худеньким пацаном лет десяти. Он немного заикался. Когда Антон открывал рот, чтобы произнести фразу, лицо его становилось слегка вытянутым. Движения были неуверенные и неловкие. Зато его серые глаза всегда излучали доброжелательность, а белые зубы украшали немного несуразную улыбку. Его бабушка была в лагере прачкой, и Антон приехал вместе с ней.

Вторым Витькиным знакомцем стал Дениска, сын завхоза лагеря. Ему было восемь. Дениска отличался развитой не по годам самостоятельностью, был весьма бойким и острым на язычок. Наверное, Денис впитал с рождения способность управлять другими. У него была вечно занятая на должности завхоза мать и два младших брата, рождённые от разных отцов. Братья ползали по комнате в мокрых колготках, ели с голодухи вчерашнюю холодную кашу и были полностью на попечении Дениски. Мать не успевала или не хотела ни стирать, ни готовить и мальчишки выживали, как могли. Соседи по корпусу часто конфликтовали с матерью Дениса, которая в ответ орала на соседей, и мальчишка тут же усвоил, чем в этой жизни побеждают. Громче орать. Можно замахнуться. В крайнем случае – ударить. К восьми годам этот опыт лишь слегка проник в Денискину душу. В целом же он был таким же жизнерадостным и любопытным, как Витька.

Третьим, приехавшим в лагерь «сынком» сотрудника, был Костя. Одиннадцати лет от роду. Сын бухгалтера, имевший дядю в директорах какой-то фабрики и, редкие по тем временам, игрушки на радиоуправлении. Костя знал, что в этом мире существуют жвачки. Лучше те, что привезены из Болгарии или Прибалтики. У него была немецкая железная дорога на батарейках и полная уверенность в своём превосходстве над окружающими.

Отношения между ребятами сложились быстро и именно так, как того и следовало ожидать. Верховодил всем старший Костя. Активности добавлял Дениска. Как спокойного и младшего, для компании взяли Витьку. И в виде исключения, чтобы не пропал, взяли заику Антона.

Во всех мальчишеских играх выходило так, что даже шестилетний Витька был сообразительнее и ловчее Антона. Лидерство же в компании непременно принадлежало Косте и его верному приспешнику Дениске.

Неудивительно, что вскоре в компании созрел заговор. Тот обычный мальчишеский заговор, который всегда возникает против самого незащищённого и непохожего на других. Инициатором выступил Костя.

Почему этого заику каждый раз приходится ждать? Вот побежали смотреть, как уголь разгружают, все через забор перемахнули. А этот? Ждали полчаса, пока он перелезет. Из-за него прозевали, как самосвал уголь вывалил.

– А вчера он в «съедобное-несъедобное» холодильник съел, – добавил Дениска.

– Надо его отлупить, – подытожил Костя.

Витьке было не очень понятно, почему доброго и без того слабоватого Антона надо отлупить. Чем это может улучшить ситуацию, и, главное, насколько справедливо это по отношению к заике. Но Витьке нравился этот новый почти взрослый мир с его отношениями, непонятными сложностями и осязаемым удовольствием от своего полноценного членства в этом маленьком обществе. Витька был готов делать всё для сохранения своего статуса. Он ощущал истинное блаженство, когда старший Костя хвалил его за точное попадание из рогатки в жестяную банку. Витька нутром чувствовал, что Денискины окрики и дразнилки не распространяются на него, потому как он – член банды, критике не подлежит. Этот статус, интуитивно ощущаемый Витькой, завораживал его.

В один прекрасный день было принято решение побить Антона. Просто так. Без повода. Просто потому, что после этого мероприятия расставлялись все точки над «и» в этом маленьком сообществе.

– Покажем ему, откуда ноги растут, – с уверенностью заявил Костя, не слишком понимая значение услышанной где-то фразы.

План был исключительно прост. Костя подошёл к Антону со словами: «Да надоел ты блин уже!». Ничего не понимающий Антон, который только проснулся и вышел на улицу с полотенцем на шее, глупо улыбался.

Костя, как умел, дал Антону по зубам и тут же схватил его за шею удушающим приёмом. Подскочивший вмиг Дениска начал лупить Антона поддых. Понимая, что в стороне оставаться нельзя, Витька подошёл и трижды ударил своим детским кулачком Антона по сгорбленной спине. К этому моменту Антон в отчаянии, изо всех сил, рванулся в сторону и высвободился с громким криком. Увидев озверелое от боли и обиды лицо Антона, нападавшие бросились бежать. Как разжавшаяся пружина, Антон интуитивно кинулся за ними. Последним из убегавших стал Витька. Заика нагнал его, но Витька в испуге упал на землю, закрыв лицо руками. Антон, запыхавшись, остановился возле него.

– Чего ты испугался? Ты не ушибся? – спросил Антошка отдышавшись.

– Они сказали, что тебя нужно избить, – промычал Витька.

– Да ну их, вставай! – Антошка протянул Витьке руку.

Витька поднялся и, оглядевшись, увидел, как из-за угла соседнего корпуса выглядывают любопытные лица Кости и Дениски.

– Пойдём в столовку, – предложил Антошка, слегка заикаясь, – попросим у буфетчицы булочку с компотом и съедим пополам. Она иногда угощает меня.

Витька с радостью пошёл. Теперь он не понимал, почему Антошка не мстит. Он шёл за ним и видел ту самую спину в застиранной и порванной клетчатой рубахе, по которой только что бил кулаком. Непонятное и неприятное волнение впервые обуяло Витьку. Он остановился и заплакал.

– Чего ты? – обернувшись, спросил Антошка.

Витька не мог ответить на этот вопрос. Он впервые чувствовал боль, не будучи ушибленным или обиженным. Пока ещё Витька не мог объяснить себе причину этой боли.

Из-за угла соседнего корпуса за ними продолжали наблюдать любопытные глаза Кости и Дениски. Витьке навсегда запомнился этот характерный взгляд из-за угла. В последующей жизни он ещё не раз встречал подобный взгляд. Но с этого момента Витька точно понял, «откуда ноги растут».